

Содержание материала

- [Донской пролог](#)
- [Высокие гости. Громкие речи](#)
- [Новочеркасский «Ёрш»](#)
- [На хрен таких друзей!..](#)
- [Смех сквозь слёзы](#)
- [Законный «сын» Шолохова](#)
- [Швейцар Василий](#)
- [1990 год: Поздние всходы](#)
- [Все страницы](#)

Страница 1 из 8

1967 год: Путешествие из Сибири с простынкой

В Кемерово ожидалось какое-то очередное комсомольское мероприятие, на котором я, молодой пр-р-ролетарский, оч-чень большие надежды подающий писатель, дал согласие выступить, и в Новокузнецком горкоме меня предупредили: всё будет «на природе», жить предстоит в палатках, а потому необходимо захватить с собой из дому простынку... Но не успел я с этой простынкой до обещанных палаток добраться, как получил другое «цэу» - ценное, значит, указание - немедленно разыскать только что прилетевшего из Москвы Владимира Чивилихина: я ему срочно нужен.

Чивилихин был уже широко известный на ту пору писатель, только что получивший премию Ленинского комсомола за «Кедроград», за остальные свои сибирские повести, да к тому же земляк - из северного нашего Мариинска, и мы с простынкой тут же изменили курс, тем более, что выступать «перед активом» я, как можно догадаться, не рвался.

И вот не успел я извиниться перед Владимиром, значит, Алексеевичем - почему я заостряю внимание на отчестве, потом объясню - за раннее вторжение, не успел он сообщить мне, что вечерним рейсом я должен лететь в Москву - меня включили в группу молодых литераторов, которые поедут на Дон, чтобы в неофициальной обстановке, на рыбалочке с костерком да ушицей, встретиться с Шолоховым, - так вот, не успел он всё это объяснить, как в дверь настойчиво постучали, чуть ли не следом за мной - «на моих плечах», как раньше казаки говаривали - появилась запыхавшаяся горничная и голосом, каким зовут на пожар занятых чем-нибудь чрезвычайно важным больших начальников, торопливо проговорила: «Извините, товарищ Чивилихин, вас срочно просит к телефону корреспондент «Комсомольской правды» Котляров!»

Опираясь на локоть, Чивилихин в майке полулежал в кровати и сделал теперь деликатную попытку привстать: «Только что прилёт... хотел после самолёта чуток отдохнуть. Или пусть обождёт, пока я оденусь, или...»

И тут я уверенно поднял ладонь: «Оставайся. Сейчас я с ним... чего тебе дёргаться?»

«Ты его знаешь?» - как бы благодаря меня за порыв, поинтересовался уже в спину мне Чивилихин.

Обернувшись в дверях, я сказал как само собой разумеющееся: «Кореша!»

Прошёл вслед за горничной по длинному и сумрачному тогда в кемеровской «Томи» коридору, взял лежавшую рядом с аппаратом у дежурной на стойке трубку: «Юра, привет!»

Какой на меня обрушился неудержимый водопад счастья!

«Володя! - кричал Котляров. - Володя! Как я рад, старик!.. Что ты снова в наших краях! В родных пенатах! Володя!.. Предлагаю тебе такой план - и не говори «нет», Володя!»

Раз и другой я тоже попытался окликнуть его по имени: мол, не гони лошадей! Не узнаёшь, что ли? погоди, мол... куда там! Он был как набухший семенем глухарь на мартовском токовище: «Не перебивай меня - слушай! Коньяк уже на столе. Окрошка готова. Лида в магазин побежала кой-чего докупить, а я сейчас шлю за тобой машину: спускайся вниз!»

Этот его восторженный крик мне уже надоел: вяловато, как полулежавший в гостиничном номере Чивилихин, я опять попробовал остановить напор: «Юра!»

Он там ударил ладонью по столу рядом с телефоном: «Ты не можешь отказать, старик! Ты - мой самый дорогой гость!»

Ребята мы тогда были - палец в рот не клади. Или дело в другом?

К моим тридцати годочкам за левым плечом у меня чуть ли не постоянно приплясывал тогда, как умелый боксёр во время разминки, хорошо откормленный - сами-то почти не закусывали, всё ему доставалось! - нетерпеливый бес, который просто не мог долго оставаться без дела.

«Я тут не один», - как бы скучая, сказал я в трубку.

«Кто там у тебя?» - сразу насторожился Котляров.

В голосе у меня появилась ирония: «Этот ваш... классик с Запсиба...»

«Немченко?» - поймался Котляров.

И я лениво подтвердил: «Он, да.»

«На хрен, Володя, на хрен! - категорически потребовал наш общий с Чивилихиным «кореш». - Гони его, старик, в шею... он один там? А если ещё со своим дружком Емельяновым! Нажрут тут, и, пока не выяснят, действительно, кто из них - классик, а кто - дерьмо, поговорить не дадут!»

«Ты так считаешь?» - спросил я уже заинтересованно.

Он там как будто упал на бегу. Вот медленно поднялся и тогда только с изумлением произнёс: «Гарька? Ты?!»

«Ну, кто ещё?»

В трубке запели короткие гудки: поговорили - ничего себе!

Вернувшись, я в красках живописал Чивилихину свой телефонный диалог с «корешем», и он огорчился искренне и, как мне показалось тогда сверх меры: «Нехорошо как вышло!.. Что теперь будет-то?» Я его успокаивал: да ну, мол, - что за проблема? Или не знаешь: тут такие мастера друг дружку разыгрывать, в Кемерово, в Щ е г л о в к е в этой - сто раз на дно тебя «купят», а здесь всё невольюно получилось, все само собой.

«А как же ваши дружеские отношения?» - не успокаивался Чивилихин.

Я был совершенно спокоен:

«Раздавим бутылочку. Надеюсь, он должен мне теперь? Или - я ему? Кто из нас кому?..»

Тут я ошибся: с Котляровым мы больше не общались до конца его жизни. А ведь прошло с тех пор три с лишним десятка лет.

Обиды я на него никогда не держал: на что обижаться-то? На кого?!

В этом смысле мне крепко повезло: чем-чем, а самоиронией природа одарила с избытком.

Понимая, в какое щекотливое, скажем так, положение, попал тогда Юра, иногда я делал попытки помочь ему. Окликал на каком-нибудь многолюдном сборище, радостно бросался к нему - он стремительно уходил, скрывался в толпе. Звонил домой - теперь он догадывался об этом ещё до того, как я что-либо в трубку произносил. Неправильно, говорил, набрали номер.

Хорошо хоть, незадолго до того, как ему уйти навсегда, я дозвонился-таки из Новокузнецка: ну, что ты маешься, сказал, - было бы отчего тебе мучиться, Юрка, милый! Ты был тогда совершенно прав - это мне надо было стыдиться всю жизнь: ты - причём?! Я уверен: ты знаешь, что я любил тебя всегда и люблю...

И Юра вдруг, не такой уж лирик, в голос заплакал.

Но я, само собой, о другом.

О том, какие высокие гости съезжались в тот год на берега «тихого» Дона.

Конечно же, я был не лучший из них.

Но и худшим, несмотря на готовность самоуничижения, которое, как известно, паче гордыни, назвать себя не решился бы.

Худших там просто не было!

Спустя годы, когда всё чаще начал и задумываться и размышлять над многим и многим уже в пустой след не только я, но - тысячи соотечественников, миллионы сограждан, в «Шолоховской комиссии» Института мировой литературы мне подарили ксерокопию списка участников той летней поездки на Дон. Под номером десять, замыкая список иностранцев, значилась нелегально приехавшая в Советский Союз «Товарищ Долорес, Колумбия». Следующей стоит моя фамилия и название города: Новокузнецк.

Большие надежды возлагались на мою сибирскую стройку!

Страница 2 из 8

Высокие гости. Громкие речи.

С Ларисой Васильевой в одно время заканчивали университет, факультеты наши располагались в одном корпусе МГУ на Моховой: она - филолог, «филологиня», я - журналист. Литературный работник, как в дипломе записано. Л и т р а б в профессиональном обиходе. Как вышло, и - по судьбе.

«Говорят, ты женился на трактористке?» - спросила меня Васильева, когда через год работы в Сибири в первую свою командировку в Москву я заскочил на Моховую: пяток минут посидеть на старой скамейке у подножия огаревского памятника, поглазеть на зубцы кремлевской стены за Александровским садом - как бы маленько подновить в памяти державную картину, которую пять лет перед этим впитывал тут в себя чуть не каждый день.

Ощущение, хорошо знакомое только нашему брату, сменившему Москву на провинцию: Лариса с этой скамейки как будто и не вставала - ну, может, на часок-другой отходила по вполне понятным, по житейским причинам.

«Не на трактористке, - пришлось её поправить. - На каменщице. Хотя вообще-то она мастер... линейный мастер, ты понимаешь: не в конторе прохлаждается, а на строительстве какого-нибудь тебе кислородного цеха вкалывает с бригадой с утра до вечера.»

В голосе у Васильевой прозвучало насмешливое превосходство городского цветка: «Считаешь, что это лучше?»

Пришлось ей чуть ли не лекцию прочитать: как «мы подругам в суровые дни согревали дыханием руки, чтобы к звёздам ушли корабли, чтоб вели их упрямые внуки» - эту песню, сочинённую вместе с литсотрудником многотиражки треста ещё «Сталинск...», «Сталинскметаллургстрой», да! - литсотрудником нашего незабвенного «Металлургстроя» - Робертом Кесслером, уже распевали тогда на Запсибе.

Лариса сделала вид, что всё поняла, что прониклась и ещё с десяток минут ну, прямо-таки очень заинтересованно расспрашивала меня о будущем «индустриальном гиганте», «основе третьей металлургической базы на Востоке страны», но когда мы увиделись перед поездкой на Дон, она спросила явно без подначки: мол, как там твоя чумазая трактористка?

Пожалуй, ей это было всё-таки ближе, чем безликая «работа на линии»: отец Ларисы, известный конструктор, - один из создателей знаменитого танка «Т-34».

Конечно же, таким отцом можно гордиться, и она не преминула в очередной раз это сделать и в своей книжке «Путешествие врагов с друзьями», в которой описана кроме прочего и поездка наша на Дон. Вскользь коснулась она и темы, которую в этом кратком документальном рассказе я хочу сделать главной. Вот цитата: «Потом был ужин. Он (речь о М.А. Шолохове – автор.) отсутствовал. Все развязались, спорили, ссорились. Коса находила на камень в спорах писателей с представителями комсомола. Меня их политика

никогда всерьёз не интересовала, но в какой-то момент я ввязалась в спор на стороне прозаика Гария Немченко - не помню теперь, о чем шла речь - и что-то «выдала».

Так вот, об этом-то я и хочу рассказать поточней, но прежде позволю небольшое отступление, должное психологически объяснить то, что случилось почти три десятилетия назад.

Сегодня я, казалось бы, - стреляный воробей, старый уже волчара, который нет-нет, да клацнет вдруг уже подпорченными, но все ещё крепкими зубами, но вот, вот какое дело: всё это не мешает мне во многом оставаться все тем же недоумком, которым я имел несчастье - а, может, как раз - наоборот - быть и в ту прекрасную пору самонадеянной юности. Около двух лет назад, совсем недавно, мне предложили избираться в Государственную Думу: был кандидатом по «91-ому одномандатному округу» с центром в шахтёрском Прокопьевске - на юге Кузбасса. В «стране своей молодости», как раньше обычно писали мы... эх!

С чего я вдруг на ненадёжное предприятие, как встарь в казачьих наших местах говаривали, «наруньжился»?

Прежде всего это давало возможность несколько раз слетать в Сибирь, куда я не только самолётом в любое время готов отправиться, но и - пойти пешком. Как раньше в Отрадной, опять же, - «п е ш к и». Два осенних и один зимний месячишко мне предстояло поездить по любимым ещё со студенчества - когда впервые приехал сперва «на целину», а потом уже на газетную практику - местам, и противостоять этому искушению я просто не мог: три месяца в дорогих сердцу краях - а там будь, что будет!

Как только о моём кандидатстве стало «в определённых кругах» известно, неутомимые доброхоты, которых нынче на родине - пруд пруди, тут же отыскивали богатого человека, готового мою предвыборную кампанию финансировать. Очень богатый, сказали, человек. Ничуть не беднее Кобзона и с такими же связями. Угольный магнат с Севера. Азербайджанский еврей. Мой телефон его людям дали: меня найдут.

Сразу же вслед за этим чрезвычайно важным сообщением я выдернул из розетки шнур моего так и «не распаренного» до тех пор телефонного аппарата и начал собираться в Кузбасс.

Тулееву я перед этим уже позвонил: не принимай, предупредил, мои попытки всерьёз. Тут как в том анекдоте: не догоню, так согреюсь. Если вдруг «догоню» - с тобой буду, я - не предатель. Но при любом исходе у меня появится дорогой для творческого человека личный опыт. Одно дело - писать о вас, о политиках, считай, с чужих слов и другое - потолкаться рядком, потереться плечами. А здесь такой случай испытать наши новые демократические, значит, возможности на собственной шкуре! Какой настоящий писатель от чисто русского варианта - потрогать, чтобы это ни было, своими руками - откажется?

Вдобавок ко всему я состоял тогда в штате «думского» журнала «Российская Федерация сегодня» и считал совершенно искренне, что для нашей редакции это чуть ли не подарок судьбы: обозреватель по вопросам культуры идёт на выборы за политическим опытом. Ну, не удача ли? Цены потом не будет такому золотому, как я, работнику!

Из этого ясно, что ставил я перед собой вполне конкретные цели и планку не собирался выше поднимать, но всё-таки, всё-таки...

Старший мой друг Аскер Евтых, «московский черкес», недавно похоронивший в то время жену восьмидесятирёхлетний адыгейский писатель, которому, чтобы хоть как-то поддержать его, я каждый день тогда обязательно звонил, с нарочитой ноткой торжественности, скрывавшей его трогательное отношение ко мне, высоко чтившему его самого и великолепию его, так и не оцененную до сих пор грустную прозу, так вот, Аскер с высокоторжественным юморком сказал мне, узнав об очередных моих творческих, значит, планах: «Вы знаете, Г.Л., что я - неисправимый атеист. Но я готов п о с т у п и т ь с я п р и н ц и п а м и и просить вашего Иисуса Христа и нашего Магомета, чтобы они вместе помогли вам. И я тогда буду знать, что в Думе есть, наконец, хотя бы один порядочный человек!»

А вдруг, временами подумывал я невольно: а вдруг?!

Аскер Кадербечевич, упрямый черкес, до Них достучится?

Не только это - многое другое давало мне повод вроде бы ни с того, ни с сего поддаться эйфории. Два «моих» из почитаемых церковью праздников - великомучеников Гурия, Самона, Авива и святителя Гурия Казанского - приходились как раз на дни поздней осени. За год до выборов мне пришлось побывать в морском походе: на одном из «больших десантных кораблей», на «Азове» сопровождал наших миротворцев до Греции, до Салоник. Написал потом об этом с душой, командованию ВМФ, как понимаю, документальный рассказ мой понравился, и добрые люди из Пресс-службы Главного Штаба стали туда и сюда приглашать меня: накануне летом с группой высших офицеров на один денёк полетел вместе с другими журналистами в Казань, где открывали памятник адмиралу Галлеру - заместителю легендарного Главкома Военно-морского Флота Кузнецова, сразу после войны репрессированному и умершему в печально известной Казанской тюрьме. Памятник поставили рядом с могилой другого страдальца, умершего там же на десяток лет позже Василия Сталина, но не только это странное совпадение заставило меня о многом задуматься. Времени у нас было в обрез, в ближайший храм, чтобы расспросить об иконе Казанской Божией Матери, я отлучился с поминального ужина, и батюшка, к которому я обратился, узнав о моём православном, при крещении данном имени - Гурий, посчитал справедливым укорить меня: «Выходит, вы улетите домой, не приложившись к мощам своего духовного покровителя?»

Как я мог, и в самом деле, забыть!

И вот ещё об удивительных переплетениях судьбы: летишь в Казань почтить память бывшего царского офицера, лютеранина, и тут один из высших чинов мэрии, татарин, с братским пониманием относится к твоей просьбе и даёт тебе свой автомобиль с «адским водителем» - чтобы за час до отлёта успел ты исполнить дорогой для тебя христианский обряд: Россия!

Такой гонки, какая была у нас по Казани, не видел уже давно.

Икона Казанской Божией Матери и мощи святителя Гурия Казанского находятся в одной церкви: при том самом кладбище, с которого наша делегация начала день в татарской столице. И я всё успел.

Может быть, размышлял я теперь, путешествуя по Югу Кузбасса, то был знак?

К а к о й знак и д л я ч е г о он был дан - размышлять об этом поглубже стал я только потом, а тогда взял лежавшее на поверхности это самое: «а вдруг?!»

День выборов был назначен на праздник «Николаы зимнего» - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца... уж для Него-то, думалось, разве это - проблема?

Проблемы потом у меня начнутся, когда всё-таки выберут, ну, да что ж тут - не впервой будет собраться с силами и родине послужить... а?!

Конечно, слаб человек, чего там - ой, слаб!

Потому-то Аман Гумирович, не только опытный, предвидящий всё и вся политик, вообще, по мнению близко знающих его, - большой хитрован и чуть ли не самый настоящий шаман, совершенно справедливо решил на всякий случай ещё и по-братски подстраховать меня: мало ли, и правда что, на свете чудес! Да ещё - с казачками. Казачки эти - такой народ, что в любую щель проскользнёт! А какой с него потом, испорченного Москвой, спрос? А главное - какой толк?! Сам же первый начнёт высокой своей ответственностью тяготиться и от этого мучиться: побережём писателя для его прямого дела, для творчества... И ведь - сберёт!

Всё принимаю: справедливо. Но я не об этом: если в шестьдесят лет, седой дуралей, ты так и не разуверился окончательно, что можешь вдруг - ну, а вдруг?! - пригодиться Отечеству, то что с тебя в тридцать взять-то?!

Мысль о том, что выбор остановили не на ком-нибудь другом - на тебе, само собой подкупает: нужен. Именно ты. Востребован! А коли так, будь добренький - соответствуй не только без обмана, но и без лени.

За это безнадежное дело я на Дону и взялся.

Вышло так, что на большом банкете в Ростове, ещё перед тем, как нам попасть в Вешенскую, я оказался за столом рядом с секретарём обкома по идеологии Теслей. И чуть ли не первым делом сказал ему: мол, повезло! Будет с кем поговорить о нашей дурацкой пропаганде - разве она, и правда, у нас не дурацкая?.. Об идеологии вообще: разве тут мы - не по уши в дерьме? Кругом занудство, кругом долдонство, кругом - брехня. Думаем одно, говорим другое, делаем третье - может ли всё это без конца продолжаться? Может ли добром кончиться? Наверняка: нет и нет! Но почему-то не видать, чтобы хоть кто-нибудь был этим озабочен. Идеологией нашей мы сделали иезуитское враньё. Врём, врём и врём. Не только тем, кто за рубежом, не только своим - в Союзе, но и - самое опасное дело! - давно уже сами себе врём. Всё это, естественно, из боязни выпасть вдруг из обоймы, остаться не у дел: чинопочитание и лизанье руководящих задниц сожрут нас!

Терпеливый и мудрый Тесля согласно кивал, вольно или невольно благословляя меня на продолжение темы. Я разошёлся!.. Как сам в то время обозначал: в ы с т у п а л п о р а с ш и р е н н о й п р о г р а м м е.

«Да, так, - то и дело соглашался, вздыхая, Тесля с моими оч-чень глубокими, конечно же, и хорошо взвешенными философскими посылами. - К сожалению, всё это, и действительно, - так!»

Как было не поблагодарить его за понимание, как за это не похвалить?

У одного из моих новокузнецких дружков, шефствовавших надо мной в то время комсомольских вождей, имелось присловье: «прошу простить за бедность речи.» Богатством её не отличался тогда и я.

«Хорошо иметь дело с мужиками!» - сказал я Тесле.

Тут он сразу мне возразил: «С казаками!» И я охотно поправился: «Это само собой - я о другом. Имею в виду: с мужчиной. У нас в Кузбассе на идеологии одни бабы сидят - чего с них взять?»

Столько лет прошло, а это моё заявление до сих пор вызывает в душе чувство вины... По правде говоря, сколько они, жалостливые «бабы» от идеологии прикрывали и меня, и нас всех уже перед этим? Сколькое им ещё, если бы знать тогда, чтобы выгородить меня, предстояло!

Всего-то через два года секретарь кемеровского обкома по идеологии Зинаида Васильевна Кузьмина спасёт меня, что называется, после знаменитой моей поездки в Австралию, о которой и нынче ещё ходят легенды. Недаром пошучиваю, что Кузбасс - моя историческая родина: сколько фантастических историй обо мне и нынче рассказывают, а я уже и сам давно запутался – где «голимая» правда, а где приукраска.

Испытываю тут большое искушение применить изящный этакий словесный пируэт, в результате которого станет как бы очевидно, что та самая сибирская наша баба - мужик свой, а вот донские-то казачки как раз оказались бабами... Но стоит ли из-за одного-двух честно выполнявших свой долг, как они его понимали, «тихушников» громогласно попрекать не имеющих к этому отношения остальных?

Само собой, что и я, как почти всегда тогда, был хорош, но, может быть, и меня понять можно?

Все эти бесконечные разговоры о щедрой донской земле и донском изобилии достаточно чувствительно уже успели задеть моё кубанское самолюбие... Не говоря уже о казаках и казачестве: или и мы - не южане?! Или не знаем, что тут оно всё само из земельки прёт: недаром же говорится, что утром уже не найти в подросшей за ночь траве слегу, которая вот она - у всех на виду - лежала с вечера. Воткни в такую землю оглоблю - телега вырастет, ясно! Недаром же немцы увозили в свою Германию чернозём не откуда-либо - с нашей Кубани.

Но я ведь был уже не только южанином. Один из старинных приятелей, из однокашников, придумал, глядя на то, как у меня сердце рвётся между Сибирью и Югом, такую страну: К у з б а н ь. И звал меня: к а з а к з а п с и б а н с к и й.

Конечно же, во мне копилась, клокотала, искала выхода пролетарская ярость давно оторванного от богатой и тёплой родины сибирского голодранца. Восемь лет я прожил в Кузбассе, не собиравшись уезжать и по старой казачьей традиции пуще давних насельников, пуще кондовых чалдонов хранил и старался защищать старые обычаи и те самые нравы, над которыми посмеивались, тоже свято соблюдая их, наши, из «морозоустойчивых», еврей: мол, и мы - «с и б и р а к и»!

Конечно же, мы гордились крепким, которому не будет, казалось тогда, износу, товариществом, гордились немеренными богатствами Сибири и бравировали, конечно же, своей честной бедностью: но чем нам ещё оставалось тогда гордиться и чем бравировать?

В банкетный зал богатого ростовского ресторана - наверняка не без желания перехватить рюмку «по-купечески», ещё до начала всеобщего торжества - пришёл я чуть ли не первым, тут же по пролетарской, по простонародной своей привычке разговорился с важными официантами, занятыми делом, и действительно, чрезвычайным: они ходили вдоль длиннющего, щедро сервированного стола и с белоснежных, даже глазом было видеть это, до хруста накрахмаленных скатертей, смахивали кто салфеткой, а кто полотенцем крупных чёрных сверчков - откуда они только взялись в таком количестве?

Сверчков я всегда любил и, может быть, как ни по чему другому, тосковал на своей пропахшей бензином, гремящей и скрежещущей металлом новостройке по умиротворённому их, в благостной тишине, тюрюканью...

Теперь, в моём уже подогретом воображении, они вдруг стали похожи на чумазых горновых, на сталеваров в своих суконных куртках, на покрытых угольной пылью шахтериков, которых пытались безжалостно прогнать с предстоящего «инженерам человеческих душ» праздника жизни.

Человек я был тогда чрезвычайно компанейский, а потому примером своим прежде всего и бесконечным повторением магических заклинаний - «Да пусть они побегают, братцы, эти запечнички, мешают они нам, что ли - давайте лучше с вами чокнемся, братцы!» - отвлѣк официантов от нестоящего занятия и занял делом куда более, как мне казалось тогда, достойным... Сверчки так и остались на банкете вместе со всеми нами присутствовать, некоторые из них, напрыгавшись по изобильным пятнам вылитых на скатерть напитков, тут же начали - какой, свалившись набок, подрыгивать ножками и потихоньку засыпать, а какой, из наиболее стойких, настойчиво голос пробовать, и это тоже не давало мне забыть о моей высокой миссии: представлять на Дону рабочую литературу и, само собою выходит, - рабочий класс вообще. Работяг.

Потому-то, покончив прежде всего в беседе с Теслей с проблемами идеологическими, я тут же перешёл к экономике державы. Встал с рюмкою в руке и сказал речь такую: «За этим гостеприимным столом мы то и дело говорим о щедрости донской земли, о её изобилии - и всё это как бы подтверждено всем тем, что стоит на этом нашем столе... И всё-таки главное богатство страны создаётся не здесь и не нами - горбом своим его добывают на Урале и за Уралом - в Сибири. Как раз сейчас, когда мы произносим наши велеречивые тосты, в Кузбассе и на моей голодной-холодной стройке, на металлургическом комбинате, который уже даёт металл, на Запсибе, приступила к работе самая трудная - третья смена... За неё я и предлагаю этот тост: за бессонную третью смену!»

Многие, пожалуй, думали также или примерно так - меня поддержали одобрительным ором...

Утром садились в автобусы, чтобы ехать в аэропорт, откуда должны были, наконец, лететь в Вешенскую. Ко мне благородно подошёл Тесля, наклонился к больной моей после вчерашнего говушке и негромко сказал: «Имей в виду: я - никому ничего. Тем более, что во многом ты прав. Но вообще-то... народ тут всякий. Истолковать по-разному могут, а? А впереди у вас ещё - ого-го! Так что... подумай. »

И вот когда это «ого-го!» продолжалось уже на берегу Дона, когда уже был безнадежно испорчен осетровой ухой мой серо-голубой, в брусничную искорку пиджак, возле нашей кампании остановился обходивший всех и каждого с рюмкой водки в руке Сергей Павлов, первый секретарь ЦК комсомола, только что прилетевший из Москвы и к нам, наконец,

присоединившийся. На правах «самой красивой, потому что других вообще не было», как она в своих воспоминаниях пошучивает, на правах единственной среди нашей братии дамы, Павлова сопровождала раскованная, весёлая, и в самом деле, - красивая Лариса Васильева.

Мы поднялись с травы, чтобы с «вождём молодёжи» чокнуться, и он, подальше отнеся свою рюмку от моей, сказал с назиданием: «А на твоём месте сперва бы надо написать что-то стоящее, а потом уже – громкие речи говорить!»

Ну, так вот - по большому-то счёту: или не прав был?

Но тут-то между нами и возникла Лариса. Прикрывая меня, словно бесстрашная квочка - несмышлёного своего сыночка от коршуна, беззаботно-громко заговорила: «А что он сказал, Серёжа? Он ничего такого не говорил! Это стукачи тебе наверняка не так донесли!»

Не сомневаюсь, Лариса не кокетничает, когда говорит: мол, точно не помню, что там было.

Но я-то помнил это всегда!

Более того: иногда с высокотожественной благодарностью о великодушном её заступничестве Ларисе напоминал - и устно, когда случалась такая возможность. И - письменно. Это уже не первый текст: насчёт стукачей.

Но она, выходит, это запомнила. Тут как в случае с женой - тезкой Васильевой: вот втемяшилось ей, что моя Лариса - трактористка, и - всё тут. Сама вот уже и о «кремлёвских женах» написала, и ещё - о каких только нет важных персонах, а моя бедная каменщица: ну, как сиротка! Как была в воображении Васильевой трактористкой, так ею и осталась.

И всё-таки, сдаётся мне теперь, так и не смогла тогда Лариса Васильева убедить Павлова, нет - не смогла. Иначе - почему я так и не получил потом премию?.. Ленинского комсомола, само собой.

Накануне, когда самые первые вручали Нодару Думбадзе и Владимиру Чивилихину, Анатолий Васильевич Никонов, бывший тогда главным редактором журнала «Молодая гвардия», только что опубликовавшего роман «Пашка, моя милиция» в дружески-категоричной форме сказал мне: «Готовься: следующая премия - твоя!»

«Вот как? - ответил я с интересом как бы к чему-то совсем другому, им невысказанному. - Вы так вопрос ставите?»

Была у нас тогда с Олегом Дмитриевым отработанная до тонкости манера так спрашивать: вроде бы - и наивно, а вместе с тем - со строгой значительностью.

Но Анатолий Васильевич, светлая ему память, был с юмором: «Ставлю, - сказал мне. - Ставлю. Именно так. За одного «Пашку» стоит, а у тебя теперь - два сибирских романа.»

Осенью того же шестьдесят седьмого года, грешным делом, 29 октября, «День рождения комсомола» я провёл возле радиоприёмника... нет, братцы! Пролетел, как фанера над Парижем.

В утешение пришлось придумать себе звание: «Н е д о л а у р е а т - 67».

Кемеровский обком комсомола, проявляя завидное упорство, подавал на меня документы ещё и ещё раз. Как на календарике со сменным числом мне оставалось в новом звании моём менять годы: «Недолауреат - 69». «Недолауреат - 76».

Так что, имея в виду всё ту же обещанную нам попервах на Дону рыбалку, мне можно было бы спеть песенку своего строптивного землячка Вилли Токарева, кубанца - американца, с которым так неожиданно пришлось познакомиться нам в Новокузнецке: «Эх, хвост, чешуя не поймал я ничего!»

Но ловил я всё-таки, пожалуй, другое... Во всяком случае - старался поймать.

Страница 3 из 8

Новочеркасский «Ёрш»

Допускаю, что тут определённно есть вполне объяснимая тяга к самооправданию, но и грустная правда тоже наверняка имеется: перед встречей с нашим радушным хозяином в Вёшенской бдительные «партаппаратчики», конечно же, намеревались лишить нас некоего эмоционального запала, могущего взорвать торжественно-благостную обстановку - заранее «обезвредить». А что для этого надо?

Известное дело!..

Только что вот - тридцать лет спустя! - разбирая старые бумаги, нашёл золотисто-белую, с черным письмом по ней, этикетку: «Росглаввино. Донвино. СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ. Полусухое. Ростовский завод шампанских вин.»

«Этапы большого пути», значит.

Перевернул, а на обороте вдруг - от руки: почерк уверенный и твёрдый: . Немецкий, значит, порядок. Даже там! Где - пей, не хочу.

Взялся перебирать остальные наклейки, и на обороте чёрной с золотом - «Советское шампанское. Сладкое.» - обнаружил нечто весьма невразумительное, изображенное уж венгерской рукой... Что тогда говорить о братьях-славянах и о русаках в частности?

Но первым делом нас повезли на экскурсию во Всесоюзный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия в Новочеркасске.

«Каким вином нас угощали!..»

Уж это само собой.

Хотя больше меня поразила закуска.

Самое начало июня, в Новокузнецке кроме «черемши вонючей» - извини, родная, извини, любимая - кроме знаменитой, значит, к о л б ы нашей, считай, ничего и нет, а здесь! Огурчики-помидорчики, лучок-чесночок, молоденькая редиска со всевозможными съедобными травками, а ко всему этому зелёному изобилию - и вяленый лещ, и «красная рыба», и икра - черная...

Чуть ли не всех нас сперва озадачило, что перед каждым на столе рядом с рюмкою и фужером поставили большую, литра на полтора-на два, пустую мензурку.

«А это, простите, что такое?» – «Это - для слива.» – «Какого - с л и в а?» – «А вот какое вино вам не понравится, вы его - в эту посуду. Чтоб не под ноги всё-таки выливать.»

Ну, как тут, скажите, молодому-то таланту не заочевряжиться?!

Перед каждым из нас мензурка стала стремительно наполняться редкими винами. «Российский виноград», говорите? Что-то оно у вас кисловато... «Донское степное»? Наоборот - слишком терпкое!

Но вот уже и настала пора спрашивать дорогих гостей, не слишком ли надоели им щедрые хозяева.

Помню, как Юра Сбитнев, Юрий Николаевич, записывает в «Книгу отзывов и пожеланий» только что сочиненный им стишок: «Ох, и крепок коньячок - этот самый «Ермачок»!

А ведь перед этим кто-то и его туда же, в мензурку... Как в грустном анекдоте про «вечный кайф», да. Думали, застолью конца не будет. Но вот уже - «стременная» выпита, вот - «закурганная». Кто-то спохватывается, что одну пропустили: «на ход коня» была, а на «ход ноги» - нет. Ошибочка!

Пришлось исправлять.

И тут вдруг ещё:

«Какие вы казаки, эх!.. «На посошок» пили. «На ход ноги.» «Стременная.» Потом вы сразу - «на ход коня». А ведь между этими двумя тостами - ещё один.»

«Какой, какой?» - заговорили с надеждой.

«Может, самый серьёзный, братцы!»

«Ну, не тяни, родной - не пытай!»

«Пропустили «подъяишную»!

«Под-я-иш-ную?.. Это что ж она...»

«Да как что? В седле-то ведь чуть не первое дело - о «хозяйстве» своём позаботиться! Поудобней устроиться - чтобы нигде, значит, ничего...»

«Серьёзные люди - казаки!»

« А вы думали!»

«За это надо сразу две рюмки, мальчишки!»

«Да, братцы, да - и чтоб между ними пуля не пролетела...»

«Чего это?...»

«Так стремительно эти две рюмки надо выпить.»

«Серьёзные люди - казачки, ой - серьёзные!»

После этих двух - «чтобы между ними пуля не пролетела» - все встали, наконец, из-за стола, и тут я услышал сдавленный шепот:

«Прикрой меня, старичок... Пиджаком прикрой, что ли!»

Гляжу: Юра Куранов решительным взглядом обводит свою всклень налитую мензурку. Как такого гурмана, такого, выходит, разборчивого дегустатора да вдруг не прикрыть?

Задирая выше, чем надо было, нарочно долго натягивал я пиджак, а за моей широкой спиной, значит, молодой талант глушил «слив».

«Ну, молодец! - восхитился я. - Теперь ты меня!»

И тут и там вдруг тоже послышалось: «Заслони-ка, брат!», «Прикрой, друг!»

Эх, если бы мы также «прикрывали» и «заслоняли» друг друга и брат брата всегда, а не только во время выпивки - какой враг был бы нам, русакам, страшен?!

Страница 4 из 8

« На хрен таких друзей!..»

Два дня после возвращения с Дона в Москву мы совершенно бездарно - загул ведь, известное дело, загулу рознь - пропьянствовали на квартире у Владимира Фирсова, но вот я, наконец, кое-как выполз от него, и в Доме литераторов мы встретились с Олегом Дмитриевым. С одинаковым вниманием он сперва посмотрел на мятый пиджак, висевший у меня на руке, потом взгляделся в лицо и по-актерски картинно, как было тогда с ним у нас в общении принято, развёл руками: «Что с тобой, Черри?!»

Это был один из многочисленных вариантов моего имени, которое - по тем-то, и действительно, временам! - на самые причудливые варианты ну, прямо-таки напрашивалось.

«Долго рассказывать, Олежек, - вздохнул я. - Долго рассказывать!»

«Но в этом вигваме, надеюсь, ты себе маленько позволишь?» - спросил он весьма заинтересованно.

Тут надо упомянуть о давних наших с ним факультетских именах, якобы у индейцев позаимствованных. «Вигвамный Шест» - так прозвали мы в своё время чрезвычайно худого Олега за высокий, за «длинный» рост. Я с первого курса, чтобы пополнить свой скудный бюджет, чуть не с утра до вечера бегал по московским редакциям - «подхалтуривал», за что был наречен Потным Мокасином. Последний из неразлучной нашей в то время тройцы носил обидную, как считал он, кличку «Печень Трески»... любопытное дело, правда!

Чуть ли не главным занятием Олега, хоть ездить он любил, ездил много, стало с годами - п о д п и р а т ь потолок в Доме литераторов. Блестящий юморист, признанный балагур, за изящными шутками которого скрывался глубокий и часто печальный смысл, всеобщий любимец, он и сломался, что там ни говори, как раз тогда, когда ЦДЛ наш - как центр дружеского, миротворческого общения - практически рухнул во времена должной бы как раз подукрепить его «перестройки»: как жаль, если лежать в руинах он останется уже навсегда.

«Печень трески», прозванный так не только за стандартный, как у банки консервов, вид, всегда блестящий, по-европейски подтянутый, но и за неприметность свою в то же время, за обыденность, в точности повторил судьбу этого заполонившего некогда полки «гастронов»- «бери-не хочу!» - продукта, одного из самых тогда дешевых. Закончив какую-то хитрую спецшколу, разумеется, - высшую, надолго откочевал за рубеж, а на родине стал доступен только для избранных.

Что касается меня самого, мокасины на все случаи жизни, всё больше грубые и крепкие башмаки, заняли самое, пожалуй, почетное место не только в гардеробе моём, но и достойное - в моём творчестве, а то, что у меня никогда не было автомобиля - ни личного, ни служебного - и нынче не позволяет засиживаться и заставляет, что там ни говори, с почтением относиться к удобной и прочной обуви. Вечно мчишься, всегда куда-то спешишь и непременно опаздываешь... Совсем недавно со старым другом обнялись, и он озабоченно спросил: ты что, мол, - под дождь попал?... – «С тобой, - говорю ему, - на встречу опаздывал!» Вспомнил о студенческом своём прозвище, рассказал, что был некогда Потным Мокасином, всего лишь, а нынче вот - хоть новенькое придумывай: потому что и рубаха - хоть выжми. Привык ходить быстро, медленно - просто не могу... слава Тебе, Господи: даёшь возможность не отступить пока от этой привычки!

(Несколько лет назад торопился в Дом литераторов по какому-то неотложному делу, мчался от станции метро «Баррикадной» к Садовому и обогнал парня с сумкой на плече... Гляжу, теперь он обошел меня: ну, нет, братец, - думаю... молод ты ещё, молод! Легко его перегнал, но он снова появился впереди меня - и так было и один раз, и два, и три... Потом он рядом пристроился, и, называя мою фамилию, спрашивает на ходу: вы - такой-то, мол?... «Да, - отвечаю с полным правом на утвердительный ответ, но в то же время и со вполне объяснимым удивлением, - я!» – «А что же вы как по тайге несетесь?» - спрашивает он ну, с чрезвычайным интересом. «А где мы с вами находимся? - спрашиваю. - Мы в джунглях! Как раньше, бывало, о городах говаривали: в к а м е н н ы х д ж у н г л я х. Только так тут и можно что-то успеть... вы-то - кто?» «Сергей Ковякин, - он говорит. - Из Кузбасса. Узнал вас сразу... Прозу пишу. А живу в Таштаголе.»

Ну, как бы не один пароль - все, какие можно, назвал: свой!

Был он профессиональный охотник, на медведя ходил, соболевал, по горным рекам рыбачил: приезжайте! - приглашал. - Приезжайте! Тем более, что тащить вас, как вижу, не придётся - придётся останавливать!

У каждого из нас с собой были книжки, мы радостно ими обменялись, и он сказал, улыбнувшись: «Ну, что, - побежали дальше? По г а р и е в о й, выходит, дорожке!»

Всё собирался в Таштагол, но через два-три года после этого на берегу нашли рюкзак Сергея Ковякина и его ружьё. Сам он, предположительно, зачем-то пошел ночью на «моторке», и его якобы зацепило переброшенным через реку тросом и выбросило из лодки...

Талантливый был прозаик и, судя по всему, человек хороший.

И я постоянно вспоминаю его - может быть, по м и н а ю ? - когда по левой стороне тороплюсь от «Баррикадной» к Садовому, и мне кажется, что Сергей часто бывает в это время где-то как бы неподалёку, и видит, как я бегу, и - про себя – дружелюбно и чуть грустно насмешничает как тогда, при нашей первой и единственной встрече, и у него теперь-то, в том мире, где всему другая цена, наверняка есть основания печально насмешничать и, может быть, жалеть меня, как не пожалеет никто из близких, несмотря на то, что я им рассказал потом и про тайгу, и про каменные джунгли, и про «гариеву дорожку»...)

Так вот, к тому времени Олег Дмитриев, несмотря на молодость, уже был одним из самых почитаемых вождей в том самом «вигваме», который так или иначе столько из нас сгубил: кого - «огненной водой», кого - дымком ранней славы, кого - черной завистью.

«Хотя бы несколько капель? - переспросил он, правильно истолковав моё молчание. - Или...»

«Морским узлом, - сказал я, подтверждая его догадку, весьма решительно. - Морским узлом!»

«Вигвамный Шест» завозмущался с нарочитой обидой: «Не понимаю тебя, Черри... зачем тогда было огород городить? Если теперь ты не можешь выпить с другом? Весь мир знает широко известную в Западной Сибири песню: «По д о м н е гуляет казак молодой...» И продолжал бы себе возле горячего металла... нет! Ему почему-то захотелось на Дон, видите! Должен тебе, кстати, сказать, что специально оставил для тебя недавно вышедший номерок «Нового мира» со статьёй Кардина о твоём друге Шолохове. Уверяет, что в романах его высокое мастерство не ночевало: в любимом твоём «Тихом Доне» слово «пот» чуть ли не на каждой странице встречается от трёх до пяти раз... как ты понимаешь, Черри, я - поэт! И мне плевать, что там творится в цехе у моих литературных братьев. Но на твоём месте я бы непременно разобрался, так это или нет. Дорогого твоему пламенному сердцу словосочетания «Потный Мокасин» на страницах «Тихого Дона» ты можешь, правда, и не найти, но что касается остального...»

Читал я в самолёте потом «новомировскую» статью, во многом с ней соглашался, и сердце моё наливалось гневом праведным... нет, в самом деле!

Пригласить такую кучу народу, чтобы постепенно потом чуть не всех ухайдакать: ведь «сходили с дистанции» один за другим... Ну, Вася Белов хоть по делу пострадал: как-никак поговорил с классиком на любимую для обоих тему - о продрозвёрстке. После этого, поддавши уже с нами, грешными, Вася вышел на балкон вешенской гостинички и сказал проникновенную речь, начав её словами: «Вы ограбили мой народ!.. Вы страну ограбили! Вы, вы!» И указал пальцем на стоявших под балконом партийных да комсомольских вождей из нашей команды, отнесшихся, впрочем, к этому важному заявлению если не с пониманием, то с сердобольным снисхождением - точно: давление поднялось у Василия Ивановича, помочь надо срочно, где наша «медсестричка»... сестра-а?!

Но ведь недаром Лариса Васильева оговаривается о том, что касалось не её лично: точно не помню, мол... Так что пусть-ка расскажет об этом, как он это запомнил, сам Василий Иванович.

Году примерно в 96-ом или 97-ом встретились с ним случайно в метро, на станции «Библиотека Ленина», и я предложил что-то такое: вот, мол, хорошо бы нам собрать специальный номерок «Роман-газеты» с н е п р и у к р а ш е н н ы м и воспоминаниями о нашей поездке к Шолохову. С Ганичевым говорил, Валерий Николаич, мол, готов: сам там был, всё видел... Отнекиваться Василий Иванович взялся чуть не с ожесточением, но направлено оно было больше всего как раз против того, что вспоминать о н ё м станет кто-то другой. Ключевыми словами в его речи были тогда два: «сам» и «потом» - это помню определённо.

Но кто бы из нас тогда на Дону не согласился самому себе «поднять давление» - лишь бы побыть рядом с Шолоховым и хоть немножко поговорить с ним?.. Однако не станешь ведь сквозь постоянно окружавших его партийных да комсомольских чиновников либо знакомых с ним и раньше собратьев своих прорываться, не станешь их локтями отталкивать... нет - так нет!

«Василий Белов - ту всё ясно, - подначивал меня в те дни Юра Сбитнев. - Русский человек кроме прочего, с традиционным именем... Ну, даже Геннадий, предположим, как у Машкина, - и то сойдёт... в крайнем случае - Феликс. Как у Чуева. Тут уж ничего не поделаешь: тень Феликса Эдмундовича обязывает... Но твоё-то имечко! И с ним - к Михаилу Александровичу?! Со свиным-то рылом в «калашный ряд»! Давай, пока мы здесь, поменяем тебе имя, а заодно и фамилию: станешь Г р и г а р и й, а? Как звучит!.. Станешь: Григарий О л у х о в.»

Ох, прав был Юрий Николаевич, ох, прав!

Насчёт «Олухова».

Но что делать? Всему своё время. Свой час.

А тогда...

С нами был ещё один Феликс, Овчаренко, работавший в ту пору в ЦК комсомола. Старшим-то «пастухам», следившим за нашим своенравным гуртом, было легче: только указывали пальцем, а то и просто глазами... Овчаренко был из «подпасков», и вся работа была на нём - уж ему-то досталось!

На заводе шампанских вин после очередного бокала я, само собою, решил, что настала пора найти мне, наконец, Роберта Кесслера, вместе с которым несколько лет назад мы ошастливили нашу ударную стройку этой самой песней о том, как «подругам в суровые дни согревали дыханием руки, чтобы к звёздам ушли корабли, чтоб вели их упрямые внуки.» Более того, более: «Чтобы там, завершив перелёт, на планетах чужих рассказали, что они привели звездолёт из горячей записибовской стали...»

Разве мог я пропустить такую возможность - навестить своего старого товарища по «переднему краю»? Адрес его, «Нахичеванская, 8» стучал в моё сердце, как всеми почитаемый тогда «пепел Клааса», и с каждой выпитой рюмкой стук этот, конечно же, многократно усиливался...

(Вот только что оторвался от своего «донского» текста, вышел в соседнюю комнату и на другом столе в толстой стопе черновиков нашёл давно перепечатанные набело сорок страничек, нигде не опубликованных... кому оно теперь всё это надо? Но, может, дождался своего часа хотя бы этот малый отрывок о Кесслере - недаром же несколько лет

терпеливо лежал почти под рукой: «Он был немец, сын расстрелянного в тридцать седьмом году главного механика Азовского пароходства. Мама, русская, сумела вырастить из него всепрощенца и стойка, он с добрейшей улыбкой рассказывал: «Один чувак с нашего юрфака пообещал мне отсудить отцовский дом, и я сказал ему: ты там старайся!.. А то без хаты в нашем Ростове я в Сибири так и замёрзну!»

Немудрено: у него было лёгонькое пальтишко, совершенно истрепавшееся ещё за годы студенчества. Роберт гордо величал его «мантелем», и это «высокое звание», присвоенное им ветхой своей одежонке грело его, пожалуй, больше, нежели сам продувной пальтишон... Зимой на нём был стального цвета плюшевый капелюх с постоянно опущенными ушами и редакционные кирзовые сапоги на простой носок, а то и на «босу ногу»: когда единственная пара носков, неизвестно чего дожидаясь, лежала, влажная, на холоднющей батарее в холостяцкой квартире Роберта... зато летом!

В ту пору он был красивый, с правильными чертами и с выразительным подбородком голубоглазый блондин, и как шёл ему светлосерый пиджачок из букле, из-под которого по «красным дням календаря» выглядывал - о, чудо, чудо по тем временам! - темносиний жилет со спинкой из атласа цвета пепла: так как основную рабочей силой на стройке были добровольцы-«дембиля» - только что демобилизованные солдаты, а самой распространённой «формой одежды» - зелёный бушлат да гимнастёрка, то после третьей, после четвёртой рюмки в любой кампании Роберта непременно просили свой шикарный жилет «обнародовать»...

Совершенно «нездешний», прямо-таки киношно-заокеанский, можно сказать, образ дополняла ослепительно-белая - только в первый день после стирки, естественно, - батистовая рубаша с округлыми краями воротничка и с темносерою бабочкой между ними, а единственное, что портило этот образ - выцветшие китайские штаны из хэбэ, когда-то, видимо, синие - очень, судя по всему, очень давно... Заправлены они были, опять же, в кирзовые сапоги, одни и те же зимой и летом, но тут уж дело такое: кому что хочется увидеть в облике «литературного сотрудника» нашего «Металлургстроя», то и увидит - стоит только поднять глаза либо опустить, но вообще-то это очень удобно - прямо из-за пиршественного стола Роберт, бывало, отправлялся на какую-нибудь очередную аварию - а их было всегда столько, что приходилось выбирать, какой из них отдать предпочтение, без аварий на стройке жизнь была бы - не жизнь... Или же с аварии либо с очередного аврала или пуска заявлялся на вечеринку... как пионер или как масон, у которых пионеры это и переняли: всегда готов и к трудовым будням, и - к праздникам.

Можно перейти к пище?

С ней обстояло очень просто: точно также и зимою, и летом помню Кесслера с прижатой к груди надщипнутою буханкой черняшки. Одною рукой её придерживает, а второю отламывает ещё кусочек и, пожевав, блаженно зажмуривается: «От законный хлеб мне достался сегодня, шеф! Пища богов.»

И всё это не то что с довольным - с таким умиленным видом, что и ты невольно потянешься: «Ну, дай чуток!»

А с одеждою дальше вот что: хоть это было практически невозможно, Роберту выписали - целевым назначением! - премию, и поздней осенью он отправился на толкучку: покупать пальто. К этому времени его знаменитый «мантель» уже полгода вместо половика пролежал в коридорчике, об него вытирали ноги: лучше, лучше, вытирайте, чуваки! - требовал Роберт. - Так, чтоб я его больше никогда уже не надел!

Надо ли говорить, как мы старались?

И вот он отправился на толкучку, а вечером в назначенный час мы должны были собраться у него: обмыть покупку.

Я пришёл первый - Роб полулежал на медвежьей шкуре посреди пустой комнаты.

«Ничего себе! - удивился я. - Где это ты её оторвал?»

Он тоже удивился:

«Как это где?.. Ты сам меня отправлял на толкучку!»

«Н-ну, и?..»

«И я её купил.»

«А пальто?»

«Такая законная шкура, шеф! - мечтательно сказал Роберт. - Один чувак продавал. Старый шорец. Была у него в мешке, мы даже доставать не стали - я только сунул туда руку... Чувак отдал мне с мешком. И не обманул! Посмотри, какой я теперь богач!»

«Но пальто, пальто?!»

«Да ты знаешь, - сказал он всё также мечтательно - мечтательность эта и выводила из себя Геннашу Емельянова, который передо мной был редактором нашего «Металлургстроя»: Геннаша считал её нарочитой. - Я его хорошенько вытряс, свой мантиль... побил о поручни на балконе, чтобы даже не то что грязь отскочила - пыль отлетела. Он стал как новый, ты погляди...»

Только теперь я понял, что груда тряпья, висевшая на приоткрытой в «совмещённую» ванную комнату двери, что эта рванина и есть знаменитый «мантиль» Роберта, и что мантиль этот теперь - как новый...

«Ты меня разыгрываешь, старик?» - спросил я, и голос у Роберта слегка зазвенел:

«Шеф! Разве я тебя хоть единожды разыграл? »

То была правда, и я сказал: «Нет пока.»

«Хочешь сигару? - примирительным тоном предложил Роб. - Какую, шеф, предпочтёшь? Или тебе сперва - виски?»

«Сигары» у него были: армавирские «Прима» или «Памир» - это экстра-класс тогда! - «Махорочные» из Ельца, прокопьевские «Шахтёрские» - тоже довольно редкий случай - либо новосибирские «Прибой» и «Байкал», в просторечии - «гвоздики». Названия «виски» вообще состояли из одних просторечий: «стенолаз» - это почти что «Белая лошадь», «косорыловка» - ну, чисто тебе «Долговязый Джон», «пучеглазка» - «Королева Анна», примерно, и «мозголом» - «Старый Учитель».

Пришлось принять стакан «Долговязого Джона», и рядом с Робертом я расположился на вытертой - на брюхе и в пахах догола - шкуре какого-то таёжного недоросля.

«Согласись, шеф, что её очень не хватало в моей берлоге? - вздохнул Роберт. - Заметил, как всё вокруг сразу преобразилось... или тебе ещё стаканчик? Как насчёт «Королевы Анны»? Примешь?»)

... Ну, как, ответьте мне, как, в самом деле, мог я не побывать у этого сочинителя верлибров, - наш написанный в рифму гимн был единственное, до чего он позволил себе опуститься – теперь уже в Ростове терпеливо ожидавшего, когда «чувак с юрфака» отсудит его отцовский дом, а пока жившего в квартире у своей Валюши Шугалей, уже тогда - доктора биологии, как специалист высокого класса знавшей, что за уникальный экземпляр - её Роберт: недаром же перед первым её приездом в наш посёлок мы всю ночь таскали лежавшие возле «гастронома» пустые ящики из-под «белой», и в «берлоге» у него на манер только входившего тогда в моду «Детского конструктора» какой только к утру не собрали мебели: секретер, софу, сервант, гардероб...

В общем, Феликс Овчаренко застал меня мирно спящим на шкуре горношорского медведя, наверняка загубленного небось ещё первопроходцами старой волны - казаками, прибывшими в «землю кузнецов» при императрице Екатерине вместе с «томским головой Осипом Кокоревым, казачьим головой Молчаном Лавровым и сыном боярским Остафием Харламовым.» И спал я на ней так крепко, что Феликс за малым не увёз меня в гостиницу вместе с сибирской реликвией Кесслера: посмеиваясь, говорил потом, что вцепился я в неё так, что отделить меня от медвежьей шкуры было практически невозможно...

Светлая тебе память, Феликс!

Кто-то может, правда, сказать, что на самом-то деле больше всего переживали они за собственную шкуру, чиновные комсомольцы... Конечно, не без того. С кого, если что, спросят первого: куда пропал «записбанец»?! Почему его не было на обеде и нет на ужине?

Но то, что в многочисленных положениях, которые наш брат ну, будто нарочно изобретал для них, в большинстве своём они оставались людьми - тоже чистая правда. И здесь, пожалуй, самое время сказать доброе слово и Альберту Лиханову, Алику, самоотверженно поставившему меня в списке сразу после «товарища Долорес» одиннадцатым, - кто ещё мог тогда на это решиться? Наши пути потом резко разошлись, тут уж ничего не попишешь, но эти ностальгические слова запоздалой благодарности должны быть написаны, должны... А первый секретарь кемеровского обкома комсомола Борис Рогатин, который с такой настойчивостью не единожды пробовал добиться премии для меня, что обеспечил тем самым очень устойчивую прививку против всяческих премий вообще: на долгие, теперь уж выходит, долгие годы.

Но это я добр нынче: в самолёте, летевшим из Москвы обратно в Новокузнецк, был к ним ко всем беспощаден.

Прав, пожалуй, ещё бы, думал, не прав поэт, Слава Назаров, учившийся всего лишь курсом старше меня: «Нет молодца, который победил бы винца! - печально сказал мне, когда увиделись в Красноярске у него на квартире. Недавний богатырь, был он теперь совсем слаб: только что ему сделали вторую операцию на сердце. - Они это лучше нас знают, вся эта партийная да комсомольская шушера... Потому-то в таком изобилии и

выставляют вино на всех этих семинарах «молодых», на встречах, на совещаниях... Если за столом тебя «кондратий» не хватит - глядишь, пьяненького потом трамвай зашибёт...»

Трамваев в Вешенской не было, но «кондратий» за многими так и ходил по пятам, так прямо-таки и ходил...

Когда остановился за моей спиной чуть ли не в самый интересный момент - в своём доме нас как раз принимал «сам» Михаил Александрович и за столом хлопотала Мария Петровна - пришлось потихоньку выйти на свежий воздух... Неподалёку от крыльца одиноко сидел украинский прозаик Юрий Мушкетик: он не пил, изо всех сил, как понимаю, держался - потому «от греха подальше» и удалился из дома первым.

То негромко беседовали, то молча оглядывали двор с постройками и выходящий к берегу сад. Неподалёку стояли рядом «волга», легковой «уазик» и грузовик: гараж Шолохова. Вытащенные носами на берег, тоже рядом легонько покачивались на воде три лодки: металлическая, «казанка», и две деревянные. На корме «казанки» сидел человек средних лет в выпущенной поверх брюк, раскрыленной на груди выцветшей рубахе, мыл ноги.

Садовник, сказал о себе, когда присел потом с нами рядом, а заодно - «лодошник». Рыбак!

Стал ему говорить, как нас звали вроде бы на рыбалку, и он неопределённо сказал: «Были тут...»

Мушкетик стоял, глядя на реку, тихонько потирал грудь ладонью.

«Кучкой-то что тут делать? - как бы продолжая то, что сперва не досказал, говорил садовник-«лодошник». - Этот вот... Евтушенко. Один приехал. Чего уж он там просил: упал нашему в ноги. Он, конешное дело, тут же в Москву и позвонил. Заступился, видать... а что кучкой? Даже дураки кучкой не ходят: боятся, под ними земля провалится...»

А из нас они, выходит, сделали дураков - как, и правда, земля под нами не провалилась?!

Ну, погодите, погодите: вернусь домой!..

Листал опять «Новый мир», в окошко на облака поглядывал: погодите!

Лишь бы он, правда, долетел: в часы, подобные этим, всегда ощущал, как самолёт ну, словно набит размышлениями твоими тяжкими, грехами твоими и винами... мешают лететь! Если грохнется - только и того, что получишь по заслугам... но причём - остальные?!

«Замолчи, самоанализ! Замолчи. Всё равно сгоришь ты в доменной печи!» Стишок тех лет, кем только в нашей боевой редакции тогда не цитируемый. Для извинения перед всеми и вся. Для самооправдания. Для обретения душевного равновесия: ради возможности что-то доброе в будущем совершить, если Всевышний простит тебя и дни твои продлит...

«Замолчи, самоанализ! Замолчи. Все равно сгоришь ты...»

Такой вот суровый был тогда у нас текст для медитации.

С грустной усмешкой вспоминал одну рыбалку в прямом смысле: как-то во время паводка на Томи сидели вечером у костерка, хлебали уху, и самый заядлый из наших рыбачков, самый удачливый – Алексей Багринцев, «Петрович» взялся меня подначивать. «Вот ты книжки пишешь, писатель, а у Шолохова не был, ведь так?.. А вот Василь наш книжечек не пишет, но чуть ли не три дня жил у него в Вешенской... думаешь, неправда? Расскажи, Вась, как было дело...»

У водителя, который привёз нас на Томь, была красивая фамилия Листопадов, облик Василия как нельзя больше ей соответствовал, и он об этом как будто знал - рассказывать тут же взялся с веселой уверенностью: «Да как?.. Были мы на уборке, на юг посылали. Уже всё закончили, едем на место сбора, в Ростов. Три самосвала. Дорога через Вешенскую, и как-то так получилось, что у переднего что-то с мотором как раз напротив высокого забора, а за ним большой дом... ни хрена себе! Вылезли, стоим, а тут как раз открывается калитка, выходит он, Шолохов. Кто такие, ребята? Откуда? Ну, заходите! Под деревом старая шуба брошена, на ней поллитра начатая: стаканы, говорит, у вас и свои или схожу за стаканами? Есть, есть, говорим: комплект полный! Вошли, он начатую разлил - достаёт из-под шубы ещё бутылку. Целую. Чтобы всем, значит, - на три пальца. А нас шестеро. Ну, выпили - закусывайте, говорит, пока яблоками, а там видать будет... кислое, скажу тебе! Яблоки. Наливает сразу же по второй. Ну, как там, говорит, в Сибири, жизнь? Терпеть можно? Или как?.. Рассказывали-рассказывали - остались, короче, ночевать. Ночь тёплая, а что - ещё какие-то шубы принесли, попоны какие-то, старые одеяла... сад! Утром только глаза продрал, он уже с бутылкой, ждёт... «Зилки» наши, «сахарки» снова остались под забором стоять. Весь день: поспал - и опять! Поспал - и опять. Как это? «Сучок - сон, сучок - сон.» Утром глаза открыл: опять он с бутылкой. Ну, как не уходил! Думаю: ну, на хрен таких друзей!.. На хрен. Надо ребят будить, и - по газам!»

«На хрен! - повторял я теперь в самолёте вслед за Листопадовым Василием. - На хрен! Хорошо, хоть жив остался... ну, доберёмся мы до дома! Ну, проверим: стоит ведь на полке классик, стоит. Давненько не заглядывал: перечитаем! Вон что про него Кардин - разве «Новый мир» лабуду стал бы печатать? Значит, нет дыма без огня. Нет!.. Ну, конечно! Сперва: мол, каждому из вас Михаил Александрович подпишет по книжке. Каждому!.. Венгерец мне потом показал, что он накарябал ему: для Венгрии оно, конечно, сойдёт. Кто там и что поймёт? А русаку покажи - сразу ясно: писал поддавши. Потому-то это дело и заиграли, с нашими книжками... нету! Ему, сказали, отдохнуть надо: маршал Жуков приезжает на днях. Согласился несколько дней пожить, принял приглашение: будут говорить о войне. «Они сражались за родину» уже почти готова, уже вот-вот книга, вот-вот... а с вами пока поднимем по рюмке в последний раз... не-е-ет, на хрен, конечно, на хрен!»

Подальше от них, подальше!

Страница 5 из 8

Смех сквозь слёзы

Накануне Чивилихин мне ведь так и сказал: будет, мол, что-то вроде рыбалки у Шолохова... Считать теперь, по «е р ш у» уже поймали?

Другой рыбалки в Вешенской мы так и не дождались, зато уха всё-таки была. Да какая, какая!

На берегу Дона собрались десятки машин: кроме нашей моторизованной «писательской» кавалькады - председательские «уазики» чуть не со всей округи, «газоны» с надписью «Продукты» либо «Холодильник» на высоких металлических кузовах, автолавки и полевые кухни. Вместо скатерти-самобранки - цельный, в несколько десятков метров брезент с яствами и напитками.

Но сперва небольшое отступление: из Кемерова меня выдернули, в чём был, заскочить за подходящей одежкой в родной Новокузнецк времени не было... да и какая была тогда у нас одежка!.. Потому-то в Москве у закадычного в то время друга, у поэта-ровесника, у однокашника по факультету журналистики Олега Дмитриева, у которого впервые ночевал не на их, Дмитриевых, простынке - на собственной, я одолжил утречком «сотенную» и купил светло-голубой, с брусничною искоркой летний костюм... сибиряки всё-таки: знай наших!

Легко, конечно, представить, какие тяжелейшие испытания предстояли моему новехонькому костюму в тот славный день на берегу Дона. Потому-то чуть ли не первым делом я бережно сложил пиджак вдвое и аккуратно определил неподалёку - на травке у себя за спиной.

И потекла рядом с Доном уже иная река!.. Целый приток мог быть, если бы выливали её, проклятую, на землю, а не вливали в себя.

«Хочешь посмеяться сквозь слёзы?» - спросил меня вскорости сидевший слева от меня Олжас Сулейменов. Я охотно согласился: давай, мол, - готов! Он повел подбородком вбок: «Обернись!»

На пиджаке моём, начиная с ложбинки между плечом и бортом и растекшись почти до края полы, поблескивала жирная лужица из осетровой ухи, валялись крупные рыбы кости.

«Кто?!» - ошарашенно спросил я Олжаса.

Он кивнул на сидевшего с другого бока от меня корреспондента «Правды» Навозова: «Сосед твой!.. Выплеснул за спину не глядя.»

Я, что называется, вскрикнул: «Александр Иванович!» И страдающими глазами показал на пиджак.

Он поднял ладонь и деловито успокоил меня: «Одну минуточку!»

Пошёл на коленях к моему пиджаку, сорвал пучок травы рядом, и не успел я сообразить, что может произойти дальше, как он тщательно втёр в полу весь имевшийся на ней в наличии рыбий жир. На голубом глазу поднял теперь обе ладони: «Вот - всё!»

Говорят, что Шолохов в своё время на его счёт пошутил: «Навозов - это у Александра Ивановича псевдоним. Фамилия у него ещё хуже!»

Не хочу сказать, что тут-то оно лишний раз и подтвердилось, нет. Не поддамся искушению заодно порассуждать о старом своём знакомце Членове либо о Хренове, которого узнал много позже.

Не в том суть.

Все остальные дни «у Шолохова» - хоть дождь, хоть ветер, хоть «звезд ночной полёт» - пиджак мой, который я недавно чуть ли не с гордостью демонстрировал, прикрывая занятого делом, от которого он не мог оторваться, Юру Куранова, пиджак этот постоянно теперь висел у меня на руке: надеть его не позволило бы «эстетическое чувство», даже куда менее выраженное, чем на моей «ударной-комсомольской» в Кузбассе.

«Ничего-ничего! - утешал меня Олжас. - Как только закуска здесь вдруг закончится - он всем нам, увидишь, пригодится. Ты нас всех выручишь, а, может быть, и спасёшь. Пиджак твой можно будет сварить, а можно будет порезать на части и съесть как заливное...»

Что правда, то правда.

Уже перекрашенный в чёрный цвет - в знак траура по брусничным искрам на светло-голубом фоне, да и только ли, только ли по ним? - пиджак ещё долго хранил щедрый запах съеденного на Донце осетра...

Страница 6 из 8

Законный «сын» Шолохова

Как мне всё это представлялось? Соберутся, мол, человек пять, от силы - десять, и вечерком у костерка - разговор по душам. За доброй чаркой да за щедрой ущицей. Хорошо!..

Потом был спецрейс из Москвы ИЛа-восемнадцатого, в салон набилось до отказа, что называется, и кроме трёх десятков литераторов - наших да иностранцев - кто только не летел тогда в Вешенскую. Ответственные работники отделов пропаганды ЦК партии и ЦК комсомола, редакторы молодёжных изданий, вообще - и пресса, и телевидение с киношниками-документалистами...

В центре всеобщего внимания сразу же оказался «первый космонавт планеты», всем миром человеческим уже обласканный к тому времени Юрий Гагарин, а так как ребята мы были в то время не только самонадеянные, но и, чего там, не без гонора, между нами сразу же пошёл иронический разговор: мол, летели для профессиональной беседы с классиком, а попали на классический митинг... Может, мол мы, как всегда, «недопонимаем» или не чего-то не знаем? И Юрий Алексеевич кроме прочего - давно поднаторевший критик-литературовед либо съевший уже не одну собаку крупный специалист в какой-нибудь смежной области?

В «Литературке» шла как раз очередная дискуссия о языке и обсуждался вечно животрепещущий вопрос: не слишком ли строги наши правила письма? Не пора ли предпочтение отдать живой речи? Как говорим, мол, как слышим - так и писать надо. Вся наука!

Однажды в гостиничном ресторанчике в Вешенской Гагарин оказался за соседним столиком, и Юрий Сбитнев взялся меня подначивать: слабо, мол, у «первого космонавта» спросить, как он относится к современным проблемам родного языка?

Отчего же - «слабо»?

Мы со Сбитневым в неочередной раз чокнулись, и я подался корпусом вбок, поближе к Гагарину: «Извините, Юрий Алексеевич: мы тут с товарищем никак не можем к согласию прийти: как же нам теперь следует писать ? «З а я ц» или, как говорим, - «з а е ц»?

«З а я ц всё-таки, ребята, - с терпеливой улыбкой сказал Гагарин. - З а я ц!»

Не берусь описывать взгляд, которым он на меня тогда посмотрел. Не было в нем ни обиды, ни осуждения. Но зато сколько таилось и печального сочувствия всем нам, и сострадательного понимания общей несвободы - не в том зашоренном политическом смысле, нет - в общечеловеческом, с которым он на разных уровнях соприкоснулся... Как бы в надмирном смысле, как бы – в космическом.

Уже через много лет я вдруг узнал, что наша поездка на Дон могла бы не состояться: Шолохов, как не уговаривали, не хотел общаться с писательской оравой, и только когда ему сказали, что с нами будет Гагарин, Михаил Александрович согласился: «Другое дело! С этим сынком есть о чём потолковать.»

В Вешенской потом Гагарин не раз и не два брался за баранку возглавлявшего нашу «автоколонну» шолоховского «уазика», Михаил Александрович садился рядом, и оба они были явно довольны друг другом: пассажир - водителем, водитель - пассажиром.

Эти незатейливые строки уже были написаны, когда в прошлом году, в 2000-ом, мне довелось побывать в Иркутске на празднике «Сияние России»: в «гостях у Валентина Распутина». За зеркальной дверью большого зала в местном отделении Союза писателей - в уютном, как тут издавна зовут его, «зазеркалье» - пили чай с давними друзьями, писателями-сибиряками.

Геннадий Машкин, бывший геолог, не то что крепыш в молодые годы - к р е п а к, сидел, опершись руками на палку, и я, чтобы подбодрить его нынче, из общей молодости взялся вызывать образы прошлого: а помнишь, говорю, как тогда на Дону ты спас болгарина?

«Было», - коротко согласился Машкин.

«Как его... как?»

«Георгий Константинов, - буднично сказал Машкин.- Поплыл за компанию, а плавать не умел - пришлось вытаскивать. - И вдруг глаза у него зажглись. - Другое не забуду: Гагарин тогда на мидию в воде, помнишь, наступил? Сильно поранил ногу. Выходит на берег, за ним кровь по траве, а медсестра со своим чемоданчиком как раз отлучилась. И тут - Шолохов. Велит ему сесть на землю, рвёт свою рубаху и начинает перевязывать... помнишь?»

Насколько издалека они, выходит, ясней - образы прошлого.

Насколько значительней.

И - печальней.

Страница 7 из 8

Швейцар Василий

«Дон, Дон, а лучше его - дом!» - говорила когда-то моя прабабушка Татьяна Алексеевна, бабушка Таня, и почему-то жалостливо вздыхала.

Эту поговорку вдруг вспомнил, когда и Лариса, жена, и сестрёнка Таня, названная в честь выросившей нас прабабушки, уже улеглись, я остался в кабинете один: сидел на краю тахты с первым томом Шолохова в руках, с «Тихим Доном»...

Дон! Дон!..

А родное тепло, конечно же, дороже холодной волюшки...

Не так давно мы въехали в четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме «старого типа», так это тогда называлось: высокие потолки, просторные комнаты, большая кухня и длинный коридор, в котором с младшим сыном, с Георгием, зимой мы играли в футбол: всё больше лупили друг дружке «одиннадцатиметровые», и если это и было преувеличением в отношении расстояния, то - совсем небольшим...

Перед этим я в очередной раз «бросил пить и начал одеваться»: с гонорара за роман «Пашка, моя милиция» мы приобрели два мебельных гарнитура – польскую «спальню» и немецкий «кабинет»: разве не пора было лучшему, потому что единственному - перефразируем Ларису Васильеву - на ударной стройке писателю создать хоть более или менее приличные условия для творчества?

Под кабинет решили отдать самую маленькую комнату, ближе остальных расположенную ко входной двери, и решение это, надо сказать имело и положительные свои, и отрицательные стороны... «С одной стороны» - засидевшиеся у меня дружки могли потом потихоньку выйти, не потревожив весь дом. Но скоро чуть ли не всем нашим стало ясно, что почти также незаметно они могли и проскользнуть ко мне в кабинет: конечно же, с традиционной ношей.

Когда посёлок облетела весть, что «Старик вернулся от Шолохова», тут же стали раздаваться и телефонные звонки, и тихинький условный свист под балконом, и в кабинете у себя мне пришлось провести что-то вроде коротенькой пресс-конференции: мол, всё, братцы, всё! Ни-ни. Ни капли! А расскажу обо всём чуть позже: дайте сперва в себя с дороги прийти и проделать срочную одну работёнку.

Беспокойный посёлок наш затихал, всё реже бубнили на двух скамейках - одна напротив другой - у подъезда, все глуше становились неожиданно - словно огонь на совсем было потухшем кострище - возникавшие в разных концах песни: и нестройным хором затянутые, и вдруг - лихим одиночкой... Хоть при луге, при лужке конь гулял на воле, гулял еще, но медленней уже скакал казак через долину, через Кавказские края, - всё медленней, сакля у Хасбулата удалого обеднела дальше некуда, и вот уже хлопцы не только остальных коней распрягли, но и сами, судя по всему, совсем рассупонились, и только калина у ручья никак не хотела отцвести, нет!..

Милая ты моя Антоновская площадка! Песни ты, и правда, пела всё больше наши, кубанские, и говорок там и тут часто слышался тоже наш, а я своими книжками всё маслица в южнорусский огонёк подливал, всё мыслишку такую хитрую исподволь проводил: мол, кто построил-то наш Запсиб? Казаки кубанские - кто ж ещё?!

Недаром же теперь и на чёрной, словно кузнецкий уголёк, обложке четырёх моих томов - кубанская шашка да полынный стебелёк с веточкой лавра золотом.

Теперь-то вот потихоньку становится ясным, что все мы как в воду глядели, земляки - ну, как напроорочили: вместе с любимым таёжным продуктом, с колбишкой весенней, с черемшой, получил недавно также и городскую прессу: любезные сердцу новости!.. «Губернские ведомости» напечатали биографию президента «ЕвразХолдинга» Александра Григорьевича Абрамова, которому принадлежит теперь наш Запсиб: «Нынешний президент ЕвразХолдинга никогда не относился к «золотой» молодёжи и всего привык добиваться сам. Абрамов родом с юга, из Краснодарского края. Появился на свет он 20 февраля 1959 года в простой трудовой семье. С юных лет Саша обнаружил тягу к знаниям и учился только на отлично, проявляя особую склонность к точным наукам. После окончания средней школы в 1976 году, не имея никаких связей и протекций, одарённый юноша приезжает в Москву и с первой попытки поступает в один из самых сложных вузов - Московский физико-технический институт...»

Ну, а я вам, дорогие мои - что? Не всю жизнь ли - о кубанцах?!

Как на южной-то на родине принято у старых насельников: о к у б а н ц а х.

Что всю жизнь - и в книжках, и - в речах своих, как тогда - на Дону долдонил?

Крепки мы, что там ни говори, кубанским своим, с дальним прицелом, братством! «Одарённый юноша» ещё не родился, а мы уж два года в палатках давали дубаря. Твёрдо знали: не зря! Для своих стараемся, для своих.

...все медленней скакал казак через Кавказские края, всё медленней, и бедней бедного стала сакля удалого Хасбулата - только калиновый цвет никак не хотел опадать у ручья, эх!

Сидел я с ногами, прислонившись спиной к стенке, на тахте, держал в руках раскрытый первый том «Тихого Дона», и между пальцами правой зажат был у меня, значит, простой карандаш...

«Мелеховский двор - на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше - перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона.»

Гм, а ничего так начало... вообще-то здорово!

Н а ц е л о в а н н а я в о л н а м и г а л ь к а. А?!

Но вот на первой же страничке Мелехов Прокофий, привезший жену свою из Туретчины, шел по улице, «распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть женой руки, непокорно нёс белесо-чубатую голову, - лишь по скулам у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.» Вот оно! Началось? Первая капля.

На нескольких страницах обошлось вроде без пота... или невнимательно читал да пропустил?

Но скоро опять... «Малое дело - крошка или былка прилипнет к п о т н и к у...» Или «потник» не в счёт?

Поставим всё-таки галочку, поставим... Во-о-от он, миленький, где прячется! У Аксиньи, оказывается, - чуть ли не у первой: «Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи...» М-да!

Но вот уже и сам «потный Гришка» помогал отцу «тянуть из боковушки скатанный бредень», и через несколько страничек «переступали ногами запотевшие под сёдлами кони», а всего лишь десятком строчек пониже «ходил вприсядку» станичник Христоня «в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота»...

Сперва словно мелким дождичком со страниц нанесло, а потом всё крупнее, всё гуще пот: и «обильный пот» на лице у аксиньиной свекрови, и «потные лошади», дальше - больше, и вот уже не успел Пантелей Прокофьевич вытереть «набегавший из-под козырька пот», как... здесь они, голубки, здесь и поймались: разве можно было Кардину-то мимо пройти? Сначала Григорий «носом втыкается Аксинье в подмышку, - хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый сладковатый бабий пот». Потом от мужа Аксиньи, от Степана «пахнуло запахом мужского пота и полынной дорожной горечью от нестиранной рубахи.»

Ну, то, что вслед за этим Пантелей Прокофьевич «дохлебывал щи, обливался горячим потом» - как так и надо, такая у него, у Пантелея Прокофьевича, видать, доля - потом обливаться. Что Григорий «брал шашку, уходил на задний баз и, обливаясь потом, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины» - тоже ладно...

Но когда четыре пароконные подводы отправились в поезжанье за Натальей, то даже на этом высокотожественном мероприятии у выкупавшего невесту Мирона Григорьевича «рыжие волосы, приглаженные топленым маслом, пахли потом и навозной прелью», Наталья взяла край полотенца «потной от смущенья рукой», а после за столом «запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьим.»

За окном вдруг возникли приглушенные голоса, сделались ближе...

Послышалось шарканье по асфальту, раздался вдруг смех... Высадившаяся из электрички вторая смена потянулась мимо нашего дома. На комбинате, выходит, «стала на вахту» третья? Та самая, за которую я тост поднимал на «тихом Дону»...

Вышел на балкончик второго своего этажа: поглядеть туда, где завод... эх, с пятого-то, из однокомнатной, у нас хорошо было видать в ту сторону, но тогда всё только начиналось, работали больше на «промбазе», а на заводской площадке за нею только неслышные точки далеких фар в ночи взлетали на поворотах парами светляков, безмолвно взрывали темь бесцветные огни электросварки, и над ними бесшумно, как над станицей зарницы, полыхали голубые, с розовым, проблески.

Нет-нет, всё-таки даже отсюда видать, как переморгнули, приподняли низкое небо, покачнули его тихие всплески далёких отсветов... над одной из коксовых батарей полыхнуло? На доменной пошел чугунок? На отвале шлак вылили?

Ну, ещё бы: какой стоит там теперь заводище!..

«Дон, Дон, а лучше него...» опять вспомнилось.

И у меня вдруг комок к горлу подступил: а где он, мой-то дом, где?!

Не в этом смысле - две польских кровати с тумбочками в квартире да немецкий книжный шкаф и стол с креслом... Через год, когда наши уже войдут в Прагу, запить непонимание и обиду я приволоку сюда чеха, налаживал в нашем Новокузнецке новую трамвайную линию, и он не то что с недоверием - с насмешкою спросит: «Ты правда - с п и с ы в а т е л?» «Да почему - нет-то?» - я удивлюсь. Выложу на стол свои книжки, и он покачает головой и скажет уже с большим сочувствием ко мне: «Бедно живёшь, списыватель!»

Что тогда в нашем посёлке - об остальных?

О другом доме речь...

Где я открыто говорил бы, что думаю, и меня понимали, и при этом на всякий случай по сторонам не оглядывались - больше никто не слышит? - и вольницу бы прощали не исподтиха или жалеючи: мол, что с него возьмёшь? Писатель! Молод ещё. И - пьёт.

«Мог бы ты с годок помолчать? - по-отечески попросил меня как-то Иван Григорьевич Белый, бессменный секретарь парткома стройки, ставший потом, когда разросся посёлок, секретарём райкома. - Хочется, чтобы орденок тебе остался: на память. Но тебя всякий раз из списков вычёркивают, и ты знаешь, почему... Если тебе не обидно, то мне уже за себя неловко - отстаивать тебя всякий раз, и всё бестолку. Не мог бы ты - хоть слегка потише? Уже не ради себя. Ради меня.»

Орденок - это ладно, обойдёмся. А вот молчать в тряпочку...

Кто же тогда вам, братцы, всё скажет?!

Мне глаза работяги «расшнуровывают», я - вам пытаюсь «расшнуровать».

Как без правды-то жить?!

Любимая сказочка бригадира Володи Иванова, «некомсомольца», бывшего детдомовца, приехавшего на стройку якобы за тем самым «длинным рублём» - это он стал прообразом главного героя в первом моём романе «Здравствуй, Галочкин!»: «Правда и Кривда встретились, Кривда к ей присмотрелся (у Володи Кривда почему-то был о н, мужчина) и говорит: чего такая тощая - еле на ногах держишься? Да неделю уже не евши! - Правда отвечает. Ну, пойдём покормлю тебя! В ресторане наелись доотвала, официантка подходит: с вас семьдесят пять рублей! Кривда говорит: хорошо. С вас, значит, двадцать пять рублей сдачи. И руку тянет... Официантка: а деньги где?... Кривда как закричит: как это - где?! Ну, ты и нахалка: только что вот дал тебе сотню! Вы? Давали мне?!.. Стали спорить, официантка заплакала и говорит: да где ж правда?!.. А та сначала помалкивала, а потом руками разводит и говорит: а Правда наелась и - молчит!»

Как хорошо всё помню: то была для меня бессонная ночь сокровенных открытий.

В дальней сторонке, в тысячах километров от родного порога в душе впервые четко возникло не только щемящее - словно закровоточившее вдруг ощущение чего-то древнего, изначального, бережно хранившего столько лет тайное знание о предках своих и о себе...

Только что, не сознавая того, загонял всё это вовнутрь ревниво искавшим литературные огрехи карандашиком, и вот прорвало словно дамбу, слишком долго сдерживавшую естественный напор веками и тысячелетиями сущего, захлестнувшего в один миг и

смывшего всё выморочное худосочие недавно заведённого и часто наспех придуманного... причём этот самый «пот»?

С книжкой этой в руке ты получил возможность ухо приложить к родной земле и не услышать ещё - пока только почувствовать тяжёлое приближение ещё невиданных сдвигов... Ледоход ли по всей России, реки свои вскрывающей, словно вены?.. Что-то ещё глубиннее и страшней... но что может быть страшнее, что ещё?

Усевшись на тахту, невольно взял лежавший вместо закладки между страницами карандаш, и вдруг он словно сам по себе хрустнул в пальцах и лёг, переломленный, сбоку на покрывало...

В какой напряжённо-тревожной тишине читал я, больше не отрываясь... да что читал - я жил там: и час, и два, и вот уж несколько лет, и - сто, и - тысячу лет... неужели, и правда, - в конце времён?

И вдруг я закричал. Чуть ли не во всю глотку:

«В а с и л и й!..»

Но не писателя Белова я громко звал. И не шофера Листопадова.

Тут вот какое дело: с Олегом Дмитриевым, опять же, за годы близкой дружбы невольно вырабатывая некий только нам двоим сперва и понятный язык, состоящий из зашифрованных, тому или другому из нас пришедших на ум символов, мы «Василия» этого и придумали... Помните, у Некрасова? «Кто-то крикнул швейцару: «Гони!» И пошли они...»

Так вот, этого самого швейцара Василием мы и нарекли.

И в самом деле: ну, не удобно ли?

В большой кампании кто-нибудь несёт ахиною, может - безбожно врёт, и один из нас совершенно открыто говорит вдруг другому: «Что-то долго Василий не идёт!» «А кто это?» - интересуются у нас. «Один наш общий товарищ» - отвечаем: либо Олег, либо - я. «Должен прийти?» - продолжают любопытствовать. И на голубом глазу отвечаешь: «Давно уже пора. Заждались!»

Ну, птичий, то-есть, язык. Используемый нами, бывало, на громком, на взрывном крике.

Вот я и заорал.

Прибежала Танюша - в ночной рубашке и с косыночкой поверх «бигудей»... бедная наша Танечка!.. Как часто тогда говорила мне: «Братик! Ну, зачем тебе такие густые волосы?.. А у меня - мышинный хвостик. Ну, отдай мне свои. Ну, подари!.. Увидишь, какие парни начнут за мною ухаживать!»

А ухаживали потом за ней сперва брат Валера, наш средний, врач, потом Володя Бринь, муж, и дольше всех - мама, в доме у мамы она в станице и умерла.

Родилась Таня в сорок пятом, ещё шла война, и в больнице не нашлось шелковой нитки перевязать пуповину - перетянули бинтом, но бинт не удержал живую плоть, ушла внутрь,

и всю жизнь потом Таню мучил незарастающий свищ на месте пупка... какую умницей, какую доброю и понятливой сделало сестрёнку страдание!

Вышла замуж она уже в тридцать три, и во время свадебного путешествия, во время туристической поездки в Египет - уже на обратном пути, в Турции - её разбил жестокий, из-за ревматизма, вызванного свищём, паралич. Всё могло обойтись, если бы её немедленно определили в Стамбуле в госпиталь, но для Державы это бы влетело в копеечку... не слишком ли, и в самом деле, большая роскошь? Таню оставили в каюте дожидаться Одессы, а по выходе из Босфора корабль попал в шторм... когда мы шли потом двадцать лет спустя в Грецию, в Салоники с нашими десантниками-«миротворцами» между стамбульских берегов по узенькому проливу, разделявшему богатый и многокрасочный город, буквально расцветший за последнее время благодаря не только нашим «челнокам» - и нам с вами, и нам с вами, да, я заплакал, вспомнив о своей младшенькой сестрёнке, но то был плач уже не только по ней...

Опять приходится напоминать. У Лескова: «И даны мне были слёзы дивно обильные. Всё я о родине плакал...»

Может, оттого-то всё и произошло потом, что она бывала слишком безжалостной, родина - как с нашей Танечкой.

... а тогда она вбежала в комнату, плотно прикрыла дверь за спиной:

«Ну, что ты так громко, братик?! Хорошо, что Жорика нет - испугался бы... и Ларочка проснулась наверняка, а ещё поспала бы.»

Но я как бы только начал осознавать происходящее со мной: стремительная и мощная внутренняя работа всё набирала обороты - я снова вдруг взорвался:

«Ты где?! Василий!...»

«Гут он, братик, он тут! - обнимала меня Танечка. - Он такой понятливый у тебя, всегда рядом... так верно тебе служит... что ж ты кричишь? Пришёл он, давно пришёл...»

«Ты не представляешь, Тань, что ему на этот раз предстоит! - сказал я с пылкой убеждённостью: призрачный плен когда-то с дружкой придуманного наполнился вдруг такой живой плотью! - Сколько у него, Тань, работы!»

«Он справится, братик! - говорила Таня. - Он справится...»

«Да, пожалуй, только ему это и под силу... не представляешь, Тань, сколько их всех!»

Но тогда я и сам ещё не очень-то представлял это.

Одно дело - разогнать «партийную шуштуру», устроившую на Дону эту многодневную пьянку, и ха-рошенькую персональную затрещину дать для начала «счетоводу»-Кардину... На кого поднял жалкое своё перышко, Господи?!

Но можно ли было, и в самом деле, тогда подумать, сколько лет ещё предстоит «швейцару Василию» и скольких ещё взащей выпроваживать - да кого, кого!

Какие именитые, какие важные, какие надутые от сознания собственного величия появятся у него клиенты - в том числе и с такими же, как у него самого, у добропорядочного швейцара Василия, окладистыми бородами, только что и оставшимися у них от русской правды и честности... Боже мой!

На кого вы все, и действительно, своё перышко - на кого?!

Танечка ушла досыпать, а у меня ещё долго стучало в висках: что с нами со всеми происходит, что?!

Словно из тумана проступало, соединялось и расцеплялось кружение образов, которое постоянно потом будет возвращаться ко мне годами...

Вот на берегу Дона подходит ко мне Верченко, Юрий Николаич - кто он тогда, ещё директор издательства, «Молодой Гвардии», или уже - оргсекретарь Союза писателей? «Ну, что, - говорит, - р е в и з и о н и с т? Как дела?»

Это я тогда громко называл себя «ревизионистом»: как бы оправдывался за то, что на съезде комсомола неожиданно для себя был избран в Центральную ревизионную комиссию ВЛКСМ. По каким-то своим делам как раз выбегал, долго в зале отсутствовал: стали потом поздравлять меня, а я: а с чем поздравляете, братцы, - с чем?..

Настоящими-то ревизионистами были как раз многие из них, я-то что, я - стихийный бунтарь, я - «протестант», как называли меня потом на Свердловской киностудии, где и не поставили после фильм по моему сценарию как раз потому, что был протестант: не дал взятку... Настоящими ревизионистами были они, всё больше молодые москвичи с фамилиями старых большевиков, а мы что?.. Мы из Сибири, с ударной стройки. И пьём открыто и курим – нам всё можно. Не то что, ребятки, вам: положение не позволяет.

Поэтому и отводили-то душу, ну прямо-таки с удовольствием повторяя мою нехитрую шутку: «Ничего, говоришь, дела?.. А под силу р е в и з и о н и с т у бутылку водки достать?»

«Всего-то?!» - спрашиваю Верченко не только с удивлением, но как бы даже с обидой.

Нет, правда. Тут в ней не утонуть бы, и не хочешь - под завязку «заправят», а он, страдалец: мог бы достать?

«Только так, незаметно» - дружески уточняет Верченко.

До «автолавки» буквально пять-шесть шагов. Улыбаюсь молоденькой красотуле: «Ой, тётечка, не дадите бутылку белой?»

«Хоть две, дядечка!» - отвечает она кокетливо.

Протягивает тут же две сразу, я поглядываю на Верченко, но он рукою делает знак: одной хватит!

Деньги с меня она не берёт - всё это в счёт районной, всё больше председательской складчины, и в знак признательности я прикладываю руку к сердцу, поворачиваюсь к Верченко, но он стоит уже в другом месте - за углом этой же автолавки и стоит.

Берёт бутылку и единым движением срывает белую-то «головку», хорошо что это - не «бескозырка», а с «язычком».

Крутнул бутылку в кулаке, приложился и запрокинул голову... ничего себе! Классическое «в с о с а н д о», как называл этот процесс наш общий с Аликом Лихановым друг Абрам Цернес... какое там «всосандо» - «в л и в а н д о»! Несколько секунд - и бутылка пуста. Таких мастеров даже на нашей «ударной» - ну, буквально один-два, и - обчёлся. Даже я, несмотря на немалый боевой опыт, никогда на этот эксперимент не решался... правда ведь, и «фактура» - не та, Верченко и тогда уже был - под свои «канонические» сто шестьдесят...

Но, выходит, что я свободен в своих поступках, а он - нет?

А я - с в о б о д е н в о х м е л ю? Для х м е л я - то как раз и свободен?

Но о горечи русского похмелья, к несчастью, только потом я и начал задумываться...

А тогда я сказал Сбитневу: «За общим столом её - хоть залейся, на брезенте. Но там ему, видишь ли, неудобно - большое начальство увидит. Там только маленькими рюмками, по граммульке... а душа горит! Раскрутил - и... Русский политес, а?»

«Русский п о л л и т р е ц!» - поправил неумолимый Сбитнев.

Годами потом, словно на медленном огне, будут закипать, наверх подниматься и снова потом вниз уходить обрывки воспоминаний: голоса, лица, ощущение праздника, тоска про несбывшемуся, стыд за себя и печальное видение всего - то вроде бы очень издалека, то - сверху, как бы даже с какой-то очень высокой высоты...

Вот на площади в толпе, в Вешенской рванулась вверх и оборвалась вдруг украинская песня: возникла заминка. От круга в центре толпы волнами плеснул говорок: «Да он остановил, он!» - «Сам, што ли?» - «Не слышал, как он сказал?» - «А што, што?..» - «Да не напирай ты, тут и без тебя, ей-Бо!» - «Дак, а што, што?» - «Хохлы - цыть! - сказал.» - «Так и сказал?!» - «Да а ему - долго ли?» - «Хохлы, - сказал, цыть!.. Нашу давай. Донскую!..» - «Да й праильна!» - «Да сойди, гадский род, с ноги!»

И другая песня взлетает вдруг над толпой: «Н-не для меня-я!.. придет весна. Не для меня!.. Дон разольётся...»

«Любимая его!»

Какая вдруг наступает тонкая тишина!

И какая удивительная звучит песня.

Тоже потом будет слышаться: годами!

Тут всё перемешалось: кто посмелее из станичников, те - впереди. А тебе и лезть вроде неудобно... да и гордыня, что ли. Откуда она?

Часть из нас тут - как малолетки на свадьбе, которые либо сами в окна заглядывают, либо переспрашивают: а что там, что?!.. Дай и мне заглянуть... а вот поди ты - гордыня.

Потом однажды вдруг по толпе нашей пронеслось: «Слышал, что он им сказал?.. Мишка, да. Вы там, говорит, командуйте у себя на Старой площади... Тут я - хозяин!»

Они его свойски: Мишка.

Так вот, вырвалось у него? Допекли?

Как нынче-то теперь всё больше: д о с т а л и?

Чем они его - в тот-то раз, чиновнички наши, шушера эта, нас всех потом с потрохами продавшая?

И одни теперь: да, мол, в Центральном комитете КПСС я всегда был белой вороной и был подпольщиком... Демократизацию мы готовили. Мы!

А другие, как нашкодившие детишки: это не я, не я, не я!

Как вошь в кожух вцепившиеся в остатки привилегий-то своих «патриоты». Как я когда-то – в медвежью шкуру у Роберта. В Ростове. В Нахичевани.

... и вот - тоска по несбывшемуся, стыд за себя... какой острый! Словно казачья шашка, рассекшая весь народ надвое. Не кого-либо, не что-либо. Родину!

И печальное это видение всего и вся как бы сверху... но вот что!

Благодарение судьбе за возможность, которую дала она много лет назад: мучиться недовольством и - всматриваться. И посреди всего того, во что всматриваешься - окутанное дымком от папироски задумчивое лицо Шолохова. И - глаза.

Бог даст когда-либо удастся хоть приблизительно описать, ч т о это был за взгляд и с к о л ь к о е в нём таилось.

И ч т о разгадали мы в нем. Уже потом. Всем миром. С о о б щ а.

А что - не разгадаем уже никогда.